

БЕРЕГА ДОЖДЯ

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ ЛАТЫШЕЙ
ВЫБОР СЕРГЕЯ МОРЕЙНО



R
BALTROS

Сергей Морейно

Берега дождя: Современная поэзия латышей

Латвия, стихи, лирика

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3118045

Берега дождя: Современная поэзия латышей: Выбор Сергея Морейно: Новое издательство;

Москва; 2010

ISBN 978-5-98379-132-9

Аннотация

Александре Чакс, Олафе Стумбрс, Оярс Вациетис, Улдис Берзины, Янис Рокпелнис, Юрис Куннос, Майра Асаре, Андра Манфелде – наиболее яркие латышские поэты XX века, представляющие богатый спектр латвийской поэзии – от языческого эпоса до христианской лирики. Помимо переводов, выполненных добрым десятком переводчиков (некоторые, опубликованные еще в Советском Союзе, давно стали классикой), их стихи опосредованно известны русскому читателю благодаря влиянию, оказанному ими на современную русскую поэзию Латвии – от поэтов круга легендарного «Родника» до группы «Орбита».

Содержание

Александрс Чакс	4
Мороженое	5
Современная девушка	6
Продавщица	8
Улица Марияс	9
Еврейка	10
Прощание с окраинами	12
Две вариации	13
1	13
2	14
Олафс Стумбрс	19
Зеленый день	20
О девушках	21
Исповедь	22
Пока что я не умею кататься на коньках	24
Оярс Вацietис	27
Антрацит	28
Серого цвета	30
«Я рад...»	32
«В конце непопулярной улицы...»	33
«Листопад, диктующий условия...»	34
«Твои слова меня влекут...»	35
«Я не знаю, где ты живешь...»	36
Поединок	37
«Во имя существования рода...»	38
Письмо из продленности	39
«Не плачь...»	40
«Чем дни становятся дольше...»	41
«Отапливаемые центральным отоплением...»	42
«Как перелетные птицы...»	43
Улдис Берзиньш	44
Как искать	45
«Вот я. Вот ты. Вот он...»	46
«Что, Пятница?..»	47
Рыцарь и Санчо Панса	48
«По кочкам болотным земля убегает...»	49
Стихотворение о старости	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Берега дождя Современная поэзия латышей: Выбор Сергея Морейно

Александрс Чакс

Aleksandrs Čaks
(1904–1950)

В русских переводах – Александр Чак. Первый латышский поэт европейского масштаба. Вернее, европейский поэт, писавший на латышском языке. Если заменить в его стихах Ригу на, скажем, Прагу, ничего не случится. Приняв историческую схему, согласно которой Возрождение вернуло в обиход церковей и анштальтов живые языки, по аналогии можем сказать, что Чак заставил латышскую поэзию говорить нормальной человеческой речью. А заодно научил ее петь, смеяться и плакать. Единственный подлинно большой латышский поэт, востребованный в Латвии русскоязычными. Символ есенинской чистой поэзии, культуры Латвии, ее золотого века.

Мороженое

Мороженое, мороженое!
Как часто в трамвае
ехал я без билета,
лишь бы только купить тебя!

Мороженое,
твои вафли
расцветают на всех углах города
за карманную мелочь,
твои вафли,
волшебные-желтые,
как чайные розы в бульварных витринах,
твои вафли,
алые, как кровь,
пунцовые,
как дамские губы и ночные сигналы авто.

Мороженое,
наилучшие перышки
я продал ради тебя,
самые редкие марки
с тиграми, пестрыми, как афиша,
жирафами длинными, тонкими, как радиобашни.

Мороженое,
твой холод, возбуждающий, как эфир,
я чувствовал
острее,
чем страх или губы девушек,
ты,
указатель возраста моей души,
вместе с тобой
я учился любить
всю жизнь и ее тоску.

Современная девушка

Я встретил ее
на узенькой улочке,
в темноте,
где кошки шныряли
и пахло помойкой.

А рядом на улице
дудел лимузин,
катясь к перекрестку,
как будто
играла губная гармошка.

И я повел ее — в парк —
на фильм о ковбоях.

У нее
был элегантный плащ
и ноги хорошей формы.

Сидя с ней рядом,
я вдыхал слабый запах
резеды
и гадал,
кем бы она могла быть: —
парикмахершей,
кассиршей в какой-нибудь бакалее?..

Трещал аппарат.
Тьма пахла хвойным экстрактом,
и она рассказала,
что любит орехи,
иногда папироску, секс,
что видела виноград лишь за стеклом витрины,
и что не знает,
для чего она живет.

В дивертисменте
после третьего номера
она призналась,
что я у нее буду, должно быть, четвертый любовник.

В час ночи
у нее
в комнатенке
мы ели виноград

и начали целоваться.

В два
я уже славил Бога
за то,
что он создал Еву.

Продавщица

В красивейший магазин на бульваре
Зашел, чтобы выбрать носки.

Мне их подавала
барышня среднего роста
овальными ноготками, блестящими, как маслины.

И руки,
сортировавшие пачки,
пахли патентованным мылом
и какими-то духами среднего достатка.

Пожалуй, чуть великоват
был вырез платья,
ибо она была из тех,
что после четвертой рюмки
доканчивают сигарету партнера,
рассказывают армянские анекдоты
и целуются при свете.

Я, нагнувшись, шепнул ей:
«Сегодня вечером в десять
в Жокей-клубе,
десятый столик от двери».
— Да, — сказала она
и взяла за носки
на двадцать сантимов меньше.

Улица Марияс

О, улица Марияс,
монополия
еврейских пройдох
и ночных мотыльков —
дай, я восславлю тебя
в куплетах долгих и ладных,
как шеи жирафов.

Улица Марияс —
бессовестная торговка —
при луне и при солнце
ты продаешь и скупаешь
все,
начиная с отбросов
и кончая божественной человеческой плотью.

О, я знаю,
что в теле твоём дрожащем
есть что-то от нашего века —
душе моей — коже змеиной —
до боли родное;
полна звериной тревоги,
ты бьешься, как лошадь в схватках,
как язык пса,
которому жарко.

О, улица Марияс!

Еврейка

В вагоне
жарком, как калорифер,
напротив
меня
сидела – еврейка.

Ее глаза
были влажны,
как два блестящих каштана,
а бедра
под юбочкой,
короткой, как день декабря,
перемалывали мое сердце.

Она широко улыбалась —
мне, гою,
и зубы ее пылали,
как буквы,
из которых сложена фраза:
– Я страстная женщина.

Закон своих дедов
она преступила
легко,
как порог,
как плевок на асфальте.

Я
сел с нею рядом
и взял
в ладони
под душистым пальто
ее руку,
цветущую,
как тюльпан.

И моя нога
прилипла к ее колену,
словно марка к конверту,
словно к телу хвостик мочала.

Уже проклюнулось утро
из огромного яйца ночи,
когда мы оставили тихо
небольшую гостиницу.

Прощание с окраинами

Окраины, с мной повсюду вы.
Я пью до дна хмельную вашу брагу,
И мне за это мягкий шелк листвы
Стирает с губ оставшуюся влагу.

Я ухожу, и пусть речной песок
Присыплет золотом мой след в полях бурьяна,
Едва лишь вечер, важен и высок,
Откроет совам глаз сквозные раны.

Я не грущу – так сильно я устал.
Вот только у забора на колени
В последний раз упал и целовал
Я золотые слезы на поленьях.

Две вариации

1

Рига.

Ночь.

Желтки фонарей плавали в лужах.
Дождь
пересчитывал вишни в окрестных садах,
выстукивая на листьях фокстрот
и швыряя косточки в воду каналов.

Даль
чернела окном,
укутанным плотной тканью.

Что же мне делать
в такую ночь,
когда надевают галоши?

Скрести душе подбородок,
играть клавиры на нервах?
Как устриц, глотать тоску?

И я пошел
на Московскую улицу,
в бар, где толкутся жулики и проститутки, —
грустить.
Лампы Осрама —
янтарно-желтые серьги —
качались над моей головой.

Мороженое, тая
оранжевым яблоком,
расплавалось
на блюдечке из хрусталя,
как вытекший глаз.

Где-то вакхически
выла цитра.

Ночь
сжала овальный бар
в объятиях свистящего черного шелка.

Ближайшая липа
уронила свой лист
на мой одинокий столик.

Я, взяв его в руки,
целовал долго-долго:
потому, что было у меня взамен
ничьих губ.

Губ?

Почему же я должен
целовать только губы?

Почему не могу
целовать
этот столик,
прохладный и чистый, как девичий рот;
стену,
ту самую стену,
над которой нависла
женская туша,
белая, как перетопленный жир?

Ах, зачем губкам девушек
отдана
монополия
на мой закипающий рот!

Должно быть, затем,
чтобы я здесь сидел,
один на один
с неизбывной тоской,
и слагал эти странные строфы
о себе,
которому нравятся
губы девушек больше всего на свете.

2

Рига.

Ночь.

Пробило
двенадцать.

Оранжевые лилии фонарей
внезапно увяли.
Тьма
окутала лужи
черным блестящим шелком.

Как же мне встретить утро?
Есть сливы,
пощипывать вату воспоминаний,
танго
выстучать на зубах,
из блюдец лакать тоску?

И я пошел
в сомнительный бар,
где не было вощенного пола,
где толпились воры и потаскушки, —
грустить.

За столик
в углу
уселся,
как причетник, постен и сух.

В бокале
передо мной
отцветало пиво
оранжевой пеной,
но губы мои
были пустыми и жадными,
как береста.

Зачем же я
здесь сижу?

За окнами
взмахом крыла
налетало время,
когда девушки ждут
жалящих поцелуев,
прикосновений рук,
что помогут им снять башмаки,
расстегнуть на боку платье;
и стянутые чулки,
как брошенную змеиную кожу,
раскидать по углам.

Зачем же я

здесь сижу?

Что я – схоронил свою мать?
Или меня предал друг, и я плачу?

Чак, что ты прячешь?..

Почему
ты не можешь
свою сверлящую, жгучую боль
и печаль
выкричать всем,
как сирена с утеса?

Встань
и скажи,
сколь невыносимы
для тебя эти пары,
скользящие мимо,
извиваясь с болезненным жаром,
словно, танцуя, они бы хотели раздеться;
что тебе уже некуда деться —
скажи, что свет этот алый
колет глаза твои
острым кинжалом —
скажи!

Что,
молчишь,
тебе страшно?..

Может, ты думаешь,
что слова здесь
уже не нужны,
здесь,
где повсюду плавает
алый дым,
визжит музыка,
а девки шепчут,
нет – орут
алчным взорам мужчин
только изгибами бедер,
сиянием голых колен
и томленьем груди, —
так ты полагаешь?

Смешно!

Ты

сидишь,
постен и сух, как причетник,
но – наблюдаешь,
не пожал ли плечами хозяин,
не смеются ли половые,
и шлюхи,
вон там,
не качают ли жалостно головами:
– Бедный поэт,
он болен
или ранен в неприличное место, —

Шут,
хочешь пугалом стать?
Встань ихвати,
хвати кулаком по столу,
так,
чтобы пивная кружка
исполнила пируэт,
словно подстреленный заяц,
чтобы подпрыгнула
ваза с цветами
и хрястнулась об пол,
сверкая осколками,
хвати кулаком
и скажи:

– Эй, вы,
считающие,
что я немощен,
вы,
преходящие,
серая накипь,
червивый плод,
опавший до срока,
вы —
если я
не запускаю глаза
каждой встречной девчонке под кофту,
если я
не бросаюсь за каждым
только что снятым с плиты поцелуем
в ближайшую подворотню —
вы – ничтожества – думаете,
что я не знаю любви?
Нет,
я сам поклоняюсь идолу страсти,
я люблю;
люблю и буду любить всегда,

НО ТОЛЬКО
в своей любви – я вечности жажду!

Олафс Стумбрс

Olafs Stumbrs
(1931–1996)

Спасаясь от ударов сталинского молота по гитлеровской наковальне, осенние беглецы 1944 года пересекали чужие рубежи со строчками Чака в голове и Латвией в сердце: и мальчик вместе с родителями оказывается в Германии, откуда позже переселится в Америку.

Его стихам присущи декларируемая сдержанность – так купальщик, входя в море, пробует ногой воду – и легкий акцент. Ностальгия, их доминанта, звучит сильно и страстно, но, думаю, останься Стумбрс на родине и переживи послевоенный геноцид, сумел бы заштопать своей поэтической иглой и более значительную из трещин мира, проходящих, согласно Гейне, сквозь сердце поэта.

Зеленый день

Я хочу Тебя,
как мохнатый червяк хочет свежий капустный лист:
прирожденный эстет, он несет
не столько разрушительную силу обжорства,
сколько желание выточить изящное кружево и
так превратиться в бабочку.

Я хочу Тебя,
как серый морской валун хочет нежный борт корабля:
смиривший гордыню, он ждет
отнюдь не паники пассажиров в спасательном шлюпе,
не агонии судна, встающего на дыбы, прежде чем
кануть в гремучую бездну, – нет,
из глубины взывающий к радуге, он
хочет в кои-то веки иметь ее рядом с собой,
а если она окажется масляной пленкой,
пусть на миг успокоит тревогу волн.

Я хочу Тебя —
за окнами мимо
летним зеленым днем
проходит предместье.
В эту минуту, на этом месте
ты не мадонна, не прима и не очень-то неповторима.
Но одна. И невозможно единственна.

О девушках

Вы вправду хотите знать – как?
Ладно. Рассказываю. Что тут уметь?
Позолоченная цепочка
у меня от карманного хронометра деда. К ней
как член корпорации (но не совсем
как член корпорации) я
подвесил брелок – живого льва,
нубийского желтого бас-баритонального льва,
который, стоило мне распахнуть пиджак,
возбужденно рычал
на солнце.
Да, а вместо часов
на конце цепочки
я носил Африку.
Когда я, под рык льва,
вынимал ее из специального часового кармашка,
почти каждый раз
какая-нибудь девушка
останавливалась и спрашивала:
«Скажите пожалуйста, что это у
Вас там на конце цепочки?»
«Африка, – отвечал я, —
и не желаете ли сходить со мною
в кино?»
Вот так я работал тогда:

без хитростей.

Исповедь

во всем
эротика, и те, у кого нет своего
авто, будут звать Тебя погулять в ночных испарениях
пляжа, и те, что не сочиняют
стихов, скажут: «Ну так останься у меня
этой ночью», а те, что стыдятся задрать Твою полосатую
юбку, вместо этого задерут
нос, и это тоже
способ, каким природа празднует свой
триумф. Но поздно ночью, если тьма
крови раскачает кровать как внимательный, нервный
прибой, все мы, привычно радующие друг друга
животные, вновь обретем
покой: кто-то в годами разыскиваемых руках, кто-то —
в иных. Ну и что? В такой
темноте все
руки, словно коты из
пословицы, одинаково
серы, а до утра
далеко —

весна не подходящий сезон
для поэтов. Ежезимно я пил,
например, за упокой души
моей милой, и тем мелодиям, что умел
извлечь из стебельков лилий, прохладнейший
кларнетист мог лишь позавидовать. Но когда в мае
желтые тюльпаны горят даже в мертвом песке

дюн, когда с каждой
волной на берег выносит
мальков, округленными ртами громко поющих о весне средь
зацветших водорослей, — тут я действительно ощущаю себя
не в своей тарелке: прошлогодний снежный болван, забывший
растаять вовремя, когда золотые губы
солнца восторженно прижались к его угольным
глазам —

желтая корова объедает траву с
пригорков, в мелеющих ручейках ил баламутит
рыба, танцуя особенный Данс
Макабр, моя самая гордая не
гонит меня, когда я целую ее влажные щиколотки в тени
подсолнуха, а я униженно принимаю
все, бормоча что-то о еще не сбывшемся

лете —

в последнее время обилие
девушек — это лишь способ стереть
свою память: преувеличенно розовые, большие
резинки, ластящиеся ко мне до тех пор, пока
снова кто-нибудь не постареет, профиль,
грубо намалеванный яркой губной
помадой, не исчезнет с очередной страницы моей
души, пока, наконец, не стану
чист, пуст, прохладен —

неплохо бы ночь напролет болтать на
языке китайских мандаринов с узкоглазым пожилым
человеком, еще лучше наблюдать,
как засыпает мир под синим крылом коршуна, лучше всего,
ростом опять в три вершка, встать у серой раковины
на кухне, смывая с пальцев темные
пятна, оставленные сорванных одуванчиков едким
соком —

Пока что я не умею кататься на коньках

1939 год.
Светлы, как тропка в снегу,
семь лет у меня за плечами.
Легко, как снежинка, вот-вот
на них упадет и другой.
(Просто невыносимый размер!
Не место здесь классическим ритмам.
Я же сын Балтики,
а не Средиземноморья или Эллады.
Где метроном? Подать сюда метроном!
Хочу сменить ритм.)

У нас не стоял дома VEF.
Наш приемник, носивший имя *Leibovics*,
в ту зиму ежедневно расхваливал латышей.
Со всех ледовых площадок города
на меня вещал Лейбовиц.

«Украшенный коньками Берзинь, латышский исполин...»
А вскоре на обложке журнала «Отдых»
его
– не Лейбовица —
фото: розово улыбающийся человек с венком, как на Лиго,
и круглым блюдечком на ленте через плечо:
«Наш (европейский) заводила – латыш в очках...»

(Ну, может, так не было, но та эпоха еще не
приохотила меня к чтению.)

Берзинь! Латыш!
(Тогда это не казалось экзотикой: представитель
могущественнейшей
нации в мире, – чему удивляться!)

Неделями
в ту жестокую, роскошную зиму
люди разгуливали
со свежими Берзинями на устах.

(Нехорошо, – скажешь ты: «со свежими Берзинями» – как
людоеды?
«...с именем Берзиня» тоже не очень:
как книжные черви. Дальше —)

В ту зиму я был

гениальным актером,
тончайшим лириком,
великим магом.

(Знаменитым, спрашиваешь? С чего бы – все
нормальные дети в этом возрасте таковы.)

Как актер,
раскатывая по полу в носках в теплой комнате,
я становился Берзином, Табаком, Бите
и – раз – викингом Белангрудом, —
но упал.
Как поэт-лирик, я мечтал быть
славным норвежским мастером,
Нильсом (Олафом) Энгестангеном;
Серебряный Кузнечик Севера,
он пел коньками на льду.

Как волшебник со средствами...

(Ну, я обладал капиталом в старинных дензнаках, монетах,
катать по паркету. Итак —)

Как магом со средствами,
мной, что ни день,
дома
устраивались широкие соревнования.

Сейчас
вдруг,
абсолютно спонтанно и – о, это-то важно! —
без какого-либо принуждения и угроз,
я
признаюсь.

Помните, той зимой
почти каждая улица
оглашалась ликующим
чиханием горожан,
хриплым лающим кашлем.
Вы полагаете, той зимой —
была виновата погода?
Нет же,
виновен
я,
ибо ежедневно,
согласно моим предписаниям,
сама не зная того,
вся живая Рига

— свободный вход, никакого выхода —
часами
мерзла, дрожа
на просторных трибунах
ледяного ристалища
на гладком полу
нашей спальни.

(Я должен был когда-нибудь это сказать! Ведь невозможно
прятаться
бесконечно. И так все эти мрачные десятилетия
я боялся, скрывался... С чего бы, вы думали, я эмигрировал
в возрасте тринадцати лет? Дальше —)

О, мои соревнования, мои герои!
Олаф Н. Энгестанген,
на взгляд неволшебника всего лишь
испанский пиастр 1633 года,
как правило, обгонял
Бите, игриво поблескивавший царский рубль,
и даже Берзиня — тяжелый, толстый (латыш!)
пятак, словно бы топором
вырубленный из бронзы
в 1792 году.

Едва ли не каждый раз
мой Энгестанген
пересекал ленточку первым,
первым
торжествующе прячась
в тень платяного шкафа.

Тогда я
вскакивал с пола,
каждый раз салютуя деревянным мечом
— латыш Олафс Энгестангенс Лейбовицс —
чтобы в честь нас всех
в полный голос
пропеть гимн Норвегии:
три лучших куплета из
«Только у Гауи».

.....

Да,
но я по-прежнему не умею кататься на коньках.

Оярс Вацietис

Ojārs Vācietis
(1933–1983)

Великий латышский Поэт, с большой буквы. Первопроходец, создатель современного латышского поэтического языка. Пожалуй, никто прежде с такой свободой и широтой не пользовался конкретными языковыми инструментами. Обладал редкой для XX века универсальностью, будучи лириком, физиком, эпиком, философом. С точки зрения формы чрезвычайно разнообразен.

В силу космичности мировоззрения определенно наднационален. Его поэтика пронизана всеохватывающим ритмом, и – подобно джазу – близка и понятна академику и таксисту. Младшие поэты посвящали Вацietису прекрасные строки: не как учителю и коллеге, но как чему-то большему.

Антрацит

1

Проехала машина
с каким-то там углем.

Я всю жизнь нет-нет да и вспомню
ту машину
с каким-то там углем.

Я изжаждался по одиночеству,
и я встретил
одиночество ночи в черной накидке.

Одиночество порою необходимо,
но я захлебнулся им
и начал тонуть.

По одиночеству
может идти лишь умеющий плавать.
Мне было позволено
лишь пригубить.

Но тут прошла машина
с каким-то там углем.

2

Нет, не пройти мимо
того антрацита.

Не я эту
кучу вырыл,
та куча
не станет мой дом согревать.

Зато антрацит добыт
в точно таких же шахтах,
какие сам прорубал.

По точно такому же аду,
черному,
с блуждающими огнями,
за словом идут,
за поэзией и за любовью.

И часто в местах добычи
на поверхность земли выходит

только глухой раскат.

Из черного колодца счастья
выносят самих углекопов,
и неподобающе черными,
с неподобающе светлыми глазами,
они выглядят
в полуденном солнечном блеске...

3

А у меня ведь еще инструмент есть —
только спрятан внутри.

Так долго я здесь сижу,
что кусок антрацита
уже перерос Гайзинькалнс,
потом Эльбрус
и теперь, противно
поблескивая, как автоген,
высится над Гималаями.

Больше не сыщешь сходства
со стеклянной горой,
где конь золотой годится.

Ни с чем больше нету сходства —
того, что я ощущаю,
тоже не объяснишь.

Нет,
пока я не подобрался
к бесконечному,
но определенно ползу вперед.

Не то, чтобы я понимал
бесконечность,
однако вижу,
откуда растет антрацит,
и чувствую то, что положено,
глядя на звездные пляски...

Что-то в них от меня самого,
так же, как в черном
искрящемся антраците
или Млечном пути,
научиться ходить по которому
пока невозможно.

Серого цвета

Я превратился
в одно-единственное серое око:
из серых луж
пьют серые голуби;
серый дождик
серые лужи
вгоняет в серую дрожь;

на горизонте
из серых башен
серая клякса...

Серый туман,
клубясь, наползает,
как пепел пожарища...

Я превратился
в одну-единственную серую ноздрю:
ворсинки шарфа
меня щекочут —
как в двигателях сожженный бензин;
серые пятна
на досках лесов —
как будто плотник прошелся;
запах гари —

вчера в этом городе
день загорелся, скроенный наспех,
и я в это
серое утро
вчерашний угар вдыхаю.

Он – старый солдат,
проснувшийся от одной-единственной
боли в костях,
ноющих к перемене погоды
в местах ранений,
которые многих на той войне выжгли
дотла, —
он тоже чувствует запах горелого.

Он – мчась по ступенькам —
еще выстраивает те формулы,
что заставят шататься фундамент физики,
скрепляя который,

сгорели многие, —
и снова воняет гарью.

И по всей квартире,
по всей улице,
по всему городу
паленого серый запах.

Я просыпаюсь
в час предрассветных сомнений
и по уши зарываюсь в серый и рыхлый пепел,
по которому мы ежечасно
и ежеминутно
бредем к своим
собственным радугам.

Мы каждое утро,
порядком еще не проснувшись,
влезаем в этот
вчерашний
густой серый пепел
и, почти не задумываясь,
трамбуем его,
превращая в асфальт на сегодня.

«Я рад...»

Я рад,
что тогда ошибся,
и то, чего я боялся,
оказалось зверью на пользу.

Я боялся
тех красных ягод
на снегу
и выше —
в стеклянных сучьях,
ибо, будучи человеческой породы,
я видел там
капли крови...

Как стынувшей
красной картечью
стволы набивает
голод...

И голодная птица стынет,
превращаясь
в ледышку...

А вышло —
красные капли
на снегу
и выше, в стеклянных сучьях, —

это те самые угли,
у которых любая птица
может греться
до весны,

пока я не вышел
жечь и палить повсюду
костры зеленого цвета,
несущие, отцветая,
красные угли
жизни.

«В конце непопулярной улицы...»

В конце непопулярной улицы,
на невоспетом углу,
на непримечательном дереве
сгрудились птицы,
улетая на юг.

В их силуэтах
читалось
их тяжелое бегство
от морозов.

В желтые листья
выпал
к корням рябины
их певчий корм.

И горькими ягодами,
обагренными соком,
дерево договорилось с птицами
молча.

И сказало —
пусть они пьют, клюют, хватают, тащат...

Ведь их путь
не пройден и наполовину.

И птицы молча
брали ягоды
по половинке.

В конце непопулярной улицы,
на невоспетом углу,
под непримечательным деревом
я постучался
в твою
неприметную дверь.

«Листопад, диктующий условия...»

Листопад, диктующий условия,
в лихорадке осени раскис.
Снова телефон исходит кровью,
бес полночный снова крутит диск.

Я, как волк, луною загнан снова,
рыщущий, голодный, жадный снова,
и тебе в глаза смеюсь я снова,
синий голый лед холодных снов моих.

Телефон всего нежнее в полночь,
и цветы, что мне терпеть невмочь,
так бесстыдно пахнут только в полночь.

И да – к черту, тихая святая ночь!

Возвращаются к корням своим деревья
и текут к своим истокам реки вспять.
Телефон опять в полночном гнев...

Нет, не телефон —
земля в осенней лихорадке
перелетных птиц устала звать.

«Твои слова меня влекут...»

Твои слова меня
влекут, словно волны,
вплывь,
в мистическом свете
Луны —
в них весомость, в них невесомость, и память скользит вдоль
ресниц снежной совой, я застыл на месте, а ты меня несешь
и несешь еще и еще...

Твои слова меня
обжигают, как клекот поленьев иззябшие руки решившего
клясться, отогревают их для восхождения, сдираания кожи,
я должен быть на вершине, где встала, лавиной застыв, и зо —
вешь, и зовешь еще и еще...

Твои слова меня
ранят, словно шипы ладонь без перчатки, я бьюсь о них
птичьей грудью жемчужной, скоро по ней прольется оранже —
вый жемчуг, ведь слова эти рвут, продираясь к кровному
братству, пожалуйста, рви меня, рви еще, и еще, и еще...

Но глубже всего пред тобой меня заставляет склониться
до самой земли
та тишина между слов, та нагота между слов и то, что позво —
лено мне в обнаженности этой до боли счастливой застыть,
ожидая — что еще, что еще и что еще...

«Я не знаю, где ты живешь...»

Я не знаю, где ты живешь,
я не знаю, живешь ли ты.
Такая жара,
что медленно закипают сирени,
оплывают свечи каштанов,
и акация
вызолотила тротуар.
И сквозь угар отцветания
я не улавливаю знака,
что ты меня слышишь,
что ощущаешь,
как некто вглядывается в тебя столь
пристально, что нужно вскакивать ночью,
нужно вздрагивать днем
и нужно бежать к горизонту
пустому, за которым лишь марево
и безымянный призыв
дальше.

Поединок

Выстрел грянул. Победитель ушел.
Побежденного унесли. Но кровь еще пачкает траву.
И, может быть, душа в меня вставлена косо,
только в этой крови я не вижу примет поражения,
в самом деле, не пуле обуславливать жизнь,
но крови, мертвой или живой – безусловно.
Когда поля сражений обрызгали кровью пруссы,
и в алом потоке исчез последний из павших,
я, конечно, усматриваю здесь гибель народа,
но надо всем этим полем плещет крылами вечность.

Нет у меня иллюзий на тот счет, кто кого зароет,
но, когда в единый ствол срастутся летты и ливы,
кровь всех пропавших племен над его корою
будет дышать, бурлить, проливаться ливнем.

«Во имя существования рода...»

Во имя существования рода
кому-то все время приходится уходить.

Яблоко падает далеко от яблони,
и матери жаль,
и на осенних ветрах она проклинаят
блудного сына.
И дети все
забывают материнскую плоть,
и матери плачут.

И тоже порой проклинаят.
Жалея.

Продолжение рода
предполагает уход
даже от себя самого.

Сын, я уже тебя
не вижу за горизонтом,
но мне легко.

Ибо уйти можно лишь двояко —
бросая
или же продолжая.

Не путайте продолжающего
с заблудшим.

Отец не увидит сына,
сын — отца,
но лунною ночью
магнитное напряжение
подается на их души
и тестирует:
что есть эта несоединенность —
разрыв
или же связь,
существующая между планетами,
и, стало быть, продолжение.

Письмо из продленности

У меня на дереве
горят четыре листка,
и это не все.

Еще есть время
до еще одних заморозков,
но это не долго.

Еще я горю
четырьмя огнями сразу,
и это много.

Еще при свете этих огней
я каждый день наблюдаю тебя,
и это все.

После первых заморозков
на голых ветвях
останется единственный пламень белки,
и это надолго.

«Не плачь...»

Не плачь.
Ты соснам моим над обрывом подмыла корни.
Хватит.
Уже и вода зацвела корягами черными.
О них
разбивается круглое лунное блюдо.
Те, что промышляют
орехами на берегу,
в омуте, полном коряг,
купаться не будут.
Не плачь.
Пока что.

«Чем дни становятся дольше...»

Чем дни становятся дольше,
тем мы становимся дальше
от бывших у нас
ночей.

Случается,
они нас еще навещают,
как взрослые дети
старых родителей.

Еще привязаны
их игрушки
к самому небу,
но вряд ли
мы ими станем играть.

Звездными именами
мы теперь называем
времена года
и стороны света.

Но это —
другие игры.

Минувшей ночью
ко мне приходила
чужая девушка.

Она смотрела
прямо в глаза
с особой доверчивостью
и ожиданием.

И исчезла.
И вздрагивала
оконная занавеска,
пока я не понял,
что это след
твоего дыхания.

«Отапливаемые центральным отоплением...»

Отапливаемые центральным отоплением
никогда не бывают согреты,
как нужно —
где только можно,
когда только можно,
они разводят костры,
которые идут за ними,
а они смотрят
застывшими глазами
в этот живой огонь,
с ностальгией,
с эмиграцией
в этих застывших глазах.
Господи, пожалей их, они так красивы.

В разжигании огня
есть свои первоклассники,
гимназисты,
магистры,
академики,
мэтры и подмастерья,
но нет несогревшихся.

Разводят огонь
чем угодно
и, в общем-то, всюду,
он хорош для всего:
можно варить еду,
сушить одежду,
сунуть руку
и клясться.
Это уж как когда.

«Как перелетные птицы...»

Как перелетные птицы
туманной весной
к руинам
в несуществующую больше Елгаву
все же вернулись,

так сегодня,
вчера
и завтра куда-то возвращаются
люди.

Как перелетные птицы —
с печальными песнями,
звонкими
или глухими,
к руинам возвращаются
люди.

Сегодня,
вчера ли,
завтра —
стыдясь
своей птичьей доверчивости,
возвращаются
люди.
Я тоже,
бывает,
курлычу, как перелетная птица,
мой крик печален —
кто знает,
может, я возвращаюсь
к руинам?

Улдис Берзиньш

(р. 1944)

Знаковый поэт, разбивший языковую культуру на до и после Берзиньша. Поэтический тип – поэт-шаман. Он узнаваем и довольно распространен: повелевающий тучами Велимир Хлебников, вызывающий песнями бури Вейнемейнен. Адепт культа языка, безоговорочно верящий в силу и власть слова. Гораздо гибче и доступнее Хлебникова, он по-человечески более ограничен и, в силу этого, органичен. То, что у Хлебникова кажется искусственным, у Берзиньша блистает, как жемчужина. Укладом души сродственен Илье Муромцу, защитнику вдовьему и сиротскому. Полиглот и толмач, патронирует в безъязыком пространстве лива и чуваша, жмудина и латгальца.

Как искать

Как мне искать цветок папоротника (как тебе искать) как.

Искать в песочнице искать под елкой пригожей.

Искать под подушкой утром.

В школе искать под партой.

На карте мира искать (на дне моря и на вершине горы).

Искать в книгах (листать за страницей страницу) разглаживать бережно что там цвело сто лет назад.

(Ах Библия черная пальцы дедов моих ты знаешь сколько лет и зим помнишь хозяек старых и молодых крестины свадьбы и похороны голоса журавлей и коров в закутах Расскажи может было может пришла как-то утром с луга ноги в росе с головы до пят в росе – небо в росе – держит в руке растерянная куда спрятать в Библию полистала вложила один-единственный раз могло же случиться) искать.

Искать где старики пьют спытать може кто вспомнит може кто мимо шел.

У детей спросить говорят знают всякие вещи.

Пристать к учителю пусть угадывает а вдруг угадает.

В горячей печи искать во рту смеющемся искать в сказках Латвии.

По-немецки учиться в истории древней искать «в таком-то таком-то году в лесах цвели невиданные цветы слезы Иисуса той осенью началась чума».

Искать где солдаты шагают за ротой рота колеса и гусеницы кто знает может как раз из принципа там растет не вытопан и зацветет.

Искать где зарыт повешенный где расстрелянный брошен кто знает вдруг пламенеет там вдруг царапает землю вдруг там зацветет.

Искать у себя на родине (у тебя на родине) у них на родине.

Искать в небе (искать на земле) под землей искать.

Как мне искать траву Яна (как тебе искать) как найти.

Искать в январе на льду под снегом в апреле в грязи искать жарким днем на рынке среди помидоров рыбы и птицы в летнюю ночь искать в лесу среди запахов.

Найти как найти не знаю.

«Вот я. Вот ты. Вот он...»

Вот я. Вот ты. Вот он.

Придет забытый, спросит: там кровь легла на травы, так кто траву ту скосит? Ведь был колчан и стрелы, я целил птицу смело, раз вышел Бог на встречу без птицы – в чем тут дело? Материя дробится, пространство рвется, слышишь – неровное дыхание (то не Отец ли дышит!) сквозь стекла семантические нельзя увидеть лица, и не с кем выслать вести тем, кто еще родится, у чисел нету смысла, все в черной речке тонем, и что учили в школе, у черта спит в ладони, нет, это чушь. Вот я. Вот ты, вот он.

«Что, Пятница?..»

Что, Пятница?

Весна уже прошла и нежный у нас июнь с рассадой и жасмином,
такой покой на кладбище и чистота плывет над лесом, Бог не
любит нашу землю мокнет сено.

А Пятница?

Он вроде губернатор на мелком островке и с кучей полномочий,
но парень свой мы вместе пили на Лиго Леон был пьян и
Виктору, ну было пето костер у берега реки и Кнут.

Ах, Пятница?

Куда же лето, промчалось словно три коротких дня и в октябре
я еду в Смилтене шофер сказал сынок, еще не все пропало еще
год за годом и бежали багряные деревья.

Рыцарь и Санчо Панса

1

Скачет рыцарь на хромом одре градами всями скачет на трех
ветрах.

Скачет рыцарь скачет денно скачет ночью.

Скачет рыцарь высокую думу думает а выдумать не может.

Скачет рыцарь скачет смеется и плачет.

Сколько на земле чертей и великанов это знает.

Сколько будет дважды два этого не знает.

2

Скачет Санчо Панса на ослике деревней скачет черт что за ветер.

Скачет Санчо Панса скачет день скачет ночь.

Скачет Санчо Панса одну думу думает вот ведь земля круглая и
никуда не ускачешь.

«По кочкам болотным земля убегает...»

По кочкам болотным земля убегает чибис кричит но леший еще
далеко иди побороться со мною заяц браток.

Бог со двора на двор и собаки лают но нет ни медведя ни волка
иди заяц браток.

Скоро полночь: храпит жеребец землю копытом роет я
подпоясался туго и жду заяц браток.

Стихотворение о старости

1

(Иоанна 21 истинно истинно говорю тебе когда ты был молод то препоясывался сам и ходил куда хотел а когда состаришься то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь) а Петр смеется.

Учитель он говорит что ты о старости знаешь ты умрешь молодым.

Молодому страшно его ведь можно убить со старика что возьмешь жизнь его птица в ветвях.

Юноше страшно его окуют цепями старый и в яме свободен свобода его птица в небе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.